

Редактором в фирму «Тим'ак» меня пристроил поэт Гриша Сапожников, славный парень лет пятидесяти, уютно сочетающий в себе православное пьянство с ортодоксальным иудаизмом. (Впрочем, в Иерусалиме я встречала и более диковинные сочетания, тем паче что иудаизм пьянства не исключает, а напротив, включает в систему общеврейских радостей, у нас, помилуйте, и праздники есть, в которые сам Господь велел напиваться до соплей...)

А Гришка, Гриша Сапожников, носил еще одно имя — Цви бен Нахум; это здесь случается со многими. Многие по приезде начинают раскапывать посконно-иудейские свои корни. Хотя

есть и такие, кто предпочитает доживать под незамысловатой российской фамилией Рабинович.

А вот Гриша, повторяю, как-то ухитрился соединить в себе московское прошлое с крутым хасидизмом, — возможно, при помощи беспробудного пьянства.

Он работал в одном из издательств, выпускающих книги по иудаизму на русском языке.

Из-за феноменальной его грамотности Гришу в издательстве терпели. Например, строгий тихий рав Бернштейн, чей стол в тесной комнатенке стоял впритык к Гришиному, вынужден был терпеть запах перегара, налитые преувеличенной печалью Гришины глаза и главное — его драную майку. Дело в том, что по известной причине Грише всегда было жарко.

Как ни зайдешь к нему в издательство — он сидит себе в майке, отдувается, а на стене над ним висит на гвоздике малый талит. (Я объясняю для тех, кто не знает, — это нечто вроде длинного полотенца с отверстием для головы посередине, с концов которого свисают длинные нити — цицит.)

— Погоди, я оденусь, — обычно говорил Гриша, снимая с гвоздика талит и, как лошадь в хомут, продевая в отверстие голову. При этом его пухлые плечи с кустиками волос оставались на виду. Меня-то, как человека циничного, обнаженные Гришины плечи смутить не могли, а вот раву Бернштейну явно становилось не по себе, тем более что, беседуя, Гриша то и дело обтирал подолом талита потную шею движением буфетчика, обтирающего шею подолом фартука.

— Запиши телефон, — сказал Гриша, отдуваясь и обтирая шею, — там нужен редактор, это издательская хевра. Спросишь Яшу Христианского.

— Какого? — уточнила я преданно.

Он достал из стола бутылку водки, налил в бумажный стаканчик и выпил.

— Да нет, это фамилия — Христианский, — крикнув, пояснил Гриша. — Кстати, он пишет роман «Топчан», так что боже тебя упаси проговориться, что в Союзе у тебя выходили книги и вообще что ты чего-то стоишь. Ты ничего не стоишь. Ты — просто дамочка. Старательная дамочка, набитая соломой. Понятно?

— Понятно, — сказала я. — Спасибо, Гриша.

— Рано благодарить. Он тебе устроит нечто вроде проверки. Сцепи зубы и стерпи. Его все знают за жуткую...

Рав Бернштейн кашлянул, и Гриша, запнувшись, закончил:

— Одним словом, оглядишься.

Когда рав Бернштейн вышел из комнатки, Гриша обтер шею подолом талита и сказал:

— Тут и так жарко, а они еще окна загерметизировали.

Окна были исполосованы клейкой лентой вдоль и поперек. Как у меня дома.

— Гриш, война будет? — спросила я.

Цви бен Нахум налил водки в бумажный стакан, глотнул и сказал:

— А хер ее знает...

Накануне войны улицей темной и тесной пробиралась я в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

(Позже, при свете дня, улица оказалась самой обыкновенной, не широкой, но и не узкой, автобусы ходили в обе стороны. Что это было тогда — эта сдавленность восприятия, этот спазм

воображения, это сжатие сердечной мышцы — в ожидании войны, дня за три, кажется?)

Объясняли, что справа должен тянуться зеленый забор, потом какая-то стройка, повернуть налево и войти во двор.

Кой черт забор, да еще зеленый — поди разберись в этой тьме! — я поминутно спотыкалась об арматуру, торчащую из земли, и поэтому поняла, что забор кончился и началась стройка...

До сих пор в слове «война» заключался для меня Великий Отечественный смысл — школьная программа, наложенная на биографии родителей и расстрелянных родственников. Но поскольку Отечество накренилось, сдвинулось и, отразившись пьяной рожей в тысяче осколков разбитого этой же рожей зеркала, полетело в тартарары, неясно стало — как быть со старыми смыслами и чего ждать незащищенной коже и слизистой глаз, носа, рта. (Противогазы нам уже выдали. Борис составил их аккуратно на антресолях хозяйского шкафа.)

Итак, накануне войны улицей темной и тесной, как тяжелый путь к свету из материнской утробы (она и называлась соответственно —

«Рахель имену», что в переводе на русский означает «Рахель — наша мама»), я пробиралась в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

Когда-то, до Шестидневной войны, во дворце размещалось посольство то ли Эфиопии, то ли Зимбабве, а после начала войны эта самая то ли Нигерия, то ли Тунис разорвали дипотношения с нами (с нами? с этими, здесь, ну, с Израилем) и посольство в полном составе драпануло из дворца, оставив фонтан и пальму — на редкость крупный, можно сказать, кинематографический экземпляр, высоченная прямая пальма с мощным волосатым стволом, а вот породу — не скажу, не знаю, в нашей стороне (в нашей? в тамошней, в российской) такого не росло...

В полнейшей уличной тьме здание мавританской архитектуры было тепло освещено изнутри ярким желтым светом, и этот свет падал на большие жесткие листья пальмы, на фонтан, подсвечивая их, словно театральную декорацию.

Я поднялась по внешней, легким полукругом взбегающей на второй этаж лестнице, мино-

вала террасу, толкнула дверь и вошла в очень просторный, почти незаставленный холл. Через стеклянные двери аудиторий видны были юношеские головы в цветных вязаных кипах. Я пошла в боковой коридор, столкнулась с каким-то парнишкой, спросила на плохом своем иврите — где тут читает лекцию рав Карел Маркс, — тот указал на дверь, я постучала и вошла. В этот вечер разбирали тему первой битвы Израиля с Амалеком. Он оказался пылким изящным чехом, этот рав Маркс, — жесты имел округлые, певучие, то и дело вонзая указательный палец куда-то над головой, в потолок.

— Не народ против народа, — с мягким нажимом произносил он, и смуглые сильные кисти рук разбрасывал при этом в стороны, как пианист в противоположные концы клавиатуры, расставлял боевыми шатрами друг против друга. — Но Бог против народа! — И плавной дугой указательным пальцем — вверх, в потолок.

Талантливым проповедником был рав Карел Маркс. На иврите говорил достаточно хорошо, хоть и с заметным акцентом. Например, гортанное, на связках «рейш», мягко всхлипы-

вающее у сабр, у него рокотало где-то в носоглотке.

В перерыве все вышли на террасу — там на столике стояли электрический самовар, одноразовые стаканчики, кофе, печенье на тарелке.

— А здесь культурно, — сказал кто-то за моей спиной, — и чисто. Они, по-видимому, к консервативной синагоге принадлежат...

— А я в ортодоксальную иешиву ходил, — ответил на это другой, — так я в жизни столько мяса не ел, сколько там дают. Даже компот с мясом...

Домой возвращалась в автобусе со старостой группы Гедалией — приятным пожилым человеком с лицом симпатичной козы, — кажется, он работал где-то в университетской библиотеке.

Когда миновали район Мошава Германит и автобус въехал на Яффо, ярко освещенную центральную улицу с там и сям бегающими огоньками рекламы над магазинами, стало веселей на душе. И поскольку говорили-то все о том же, Гедалия вдруг неуверенно улыбнулся в слабую бороду и сказал:



— Не думаю, чтобы бомбили Иерусалим. Здесь все-таки мусульманские святыни.

Я возразила:

— Знаете, как-то перспектива бомбежки Тель-Авива тоже мало радует.

— Конечно, конечно, — он смутился. — И потом, у нас тут горы, а газ, как вам, наверное, известно, стекает и стелется понизу.

— Да, мне известно, — сказала я...

...Первые недели эмиграции показались тяжелой болезнью — брюшным тифом, холерой, с жаром, бредом, да не дома, на своей постели, а в теплушке бешеного поезда, мчащегося черт знает куда. Между тем деятельно занимались делами: отстаивали в нужных очередях к нужным чиновникам, получали пособия, сняли квартиру в хорошем районе — правда, религиозном, да шут с ним, какая разница, даже любопытно... Вот только воду приходилось кипятить в кастрюльке. Наш новый эмалированный чайник сгинул в чудовищной пучине шереметьевской таможни.

Соседи слева подарили нам холодильник, который был, вероятно, старше, чем Страна. Он никогда не отключался, поэтому скалывать лед,

выползавший из морозильной камеры, можно было только ледорубом.

Соседка справа в первый же вечер занесла мне халат и израильский флаг. Флаг был стираемым, халат — тоже. Сын настаивал, чтобы флаг был немедленно вывешен на нашем балконе.

Едва мы заволокли чемоданы в пустую квартиру и вдохнули запах только-только высохшей побелки, зазвонил телефон.

— Семейство Розенталь? — спросили гортанно в трубке.

— Нет, — ответила я по-русски и, спохватившись, исправилась: — Ло.

В трубке еще что-то спрашивали, я торопливо перебила заученной фразой:

— Простите, я не говорю на иврите... — и повесила трубку.

В тот же день съездили па мебельный склад и привезли оттуда полную машину рухляди — несколько колченогих стульев, две тахты, диван с чужой ножкой, длиннее остальных трех, раскладушку и — огромный обшарпанный канцелярский стол, в котором недоставало трех ящичков. В верхнем ящичке этого стола я обнаружила запис-

ку на русском: «Не забудь полить цветок»... (Поезд все мчался, мчался — куда? зачем? что будет со всеми нами? Дети каждый день выпрашивали три шекеля и, ошалевшие от здешних супермаркетов, бегали за жвачками.)

Мы же почти перестали говорить друг с другом, оба умолкли, даже не жались один к другому, как перед отъездом из России, когда тревожно было расстаться на час... Я подозревала, что и Борис болеет этой неназываемой болезнью...

В первую ночь мне приснился сон о иерусалимских банях. Я мылась там вместе с «черными». И как в прежних своих тягостных снах о метро, я была, конечно, абсолютно голая, просто до неприличия. Хасиды сурово отводили от меня глаза и яростно намывливали на себе лапсердаки и шляпы. Колебались пейсы, которые светская публика называет «блошиными качелями».

Я проснулась и спросила Бориса:

— В Иерусалиме есть бани?

Он подумал, сказал:

— Наверное... В каких-нибудь отелях... Вообще, бани — это не еврейская забава.

— Почему? — спросила я.

— Видишь ли, возможно, мы всегда предчувствовали тот жар, спаливший половину нации, ту страшную парную...

(Бешеный поезд все мчался, мелькали какие-то пейзажи за окнами — средиземноморские, дивные, картинные — как, вы не были еще на Мертвом море? — вот где потрясающе красиво... Температурный бред тифозного больного: где я? где я? пить... «Это называется у нас хамсином, — приветливо объясняли мне, — нужно пить как можно больше».)

В первую субботу зашли к нам доброжелательно улыбающиеся соседи, подарили Борису талит и пригласили в синагогу. Вернувшись после трехчасовой молитвы, он повалился на тахту с поломанной ножкой и сказал — для того чтоб быть евреем, нужно иметь здоровье буйвола, боюсь, мне уже не потянуть...

...Наконец сумасшедший поезд сбавил скорость, и можно было уже различить что-то за окнами его: искусно сделанные парики, похожие на натуральные прически, и густые вьющиеся пейсы, похожие на букли парика; в белой хламиде шел по тротуару царственно прекрасный

эфиоп, такой величественно статный, такой слишком настоящий, что даже казался актером, удачно загримированным для роли Отелло; то два хасида, шествующих по Меа Шеарим, напоминали Стасова и Немировича-Данченко, или вдруг ухо выхватывало из радиопередачи: «...выступал хор Главного раввината Армии обороны Израиля...».

..Дом, на последнем этаже которого мы сняли небольшую квартиру, стоял на одном из высоких холмов Рамота, одного из самых высоких районов Иерусалима. С балкона последнего, четвертого этажа такой расстелился вид на город — хоть экскурсии сюда води. По левую руку — гора Скопус вдали с башней университета, по правую — башня знаменитого отеля «Хилтон». Вдали синела кромка Иорданских гор... Ну и так далее...

Дом стоял на холме, выступая углом, — наш балкон, если смотреть снизу, с зеленого косогора, напоминал кафедру. Словом, некая возвышенность присутствовала.

Кстати о возвышенности. Мне кажется, что наличие некоего возвышения не скажу — обуславливает, но располагает к поискам в собственной душе не скажу — вершин, но возвышенностей, да. Так что я вижу прямую зависимость религиозного состояния общества от рельефа местности. Вероятно, с вершин уместнее взывать к Богу.

(Что касается меня, то я всегда знала, что Бог есть. Я говорю не об ощущениях, а о знании. Это при абсолютно атеистическом воспитании в совершенно атеистической среде. То есть в полном отсутствии Бога. Моя младшая сестра в детстве перед экзаменом по музыке молилась на портрет польского композитора Фредерика Шопена, который висел у нас в комнате. Однажды я подслушала эту молитву. «Шопочка! — жарко шептала моя девятилетняя сестра. — Милый Шопочка, сделай так, чтоб я не ошиблась в пассаже!..» Так что я сразу отмечаю все обсуждения этой темы.)

По субботам из соседних квартир доносилось широкое утробное пение. Мелодия напоминала нечто среднее между «Шумел камыш» и «Из-

за острова на стрежень». Пели здоровыми кабацкими голосами, в которых чувствовалась полнота жизни.

По проезжей части улицы по двое, по трое неторопливо шли мужчины в синагогу. Белые, с продольными черными полосами талиты спадали с плеч, как плащи испанских грандов.

Графически это было так красиво, что первые несколько недель я поднималась в субботу пораньше, чтоб из окна наблюдать диковинную для меня, такую обычную здесь картину: евреи в талитах шли по улице в соседнюю синагогу...

...Когда вернулась способность видеть и слышать, поезд замедлил ход, пополз, остановился и — обморочно вялые, как после тифа, мы сползли со ступенек на эту землю...

Издательская фирма «Тим'ак», куда послал меня Гриша, арендовала помещение у известной газеты «Ближневосточный курьер». Само здание «Курьера» — серое, приземистое, длинное — напоминало нечто среднее между тюрьмой усиленного режима и курятником. «Тим'ак» арендовал на втором этаже небольшой зал, перегороденный самым идиотским способом на множество

маленьких кабинок. Войдя в зал, посетитель попадал как бы в лабиринт и принимался блуждать по кабинкам, хитроумно переходящим одна в другую. И поскольку перегородки были высотой в человеческий рост, то по плывущему над ними головному убору можно было определить с немалой степенью вероятности, кто из заказчиков явился.

— Ну-с, что бы такое вкусненькое вам дать поредактировать?.. — ласково-небрежно спросил Яша, роясь в бумагах на столе. Христианский оказался ортодоксальным иудеем, рыжим, томным, с орлиным носом, внушительной фигурой, схваченной португеей (какие носят сотрудники сил безопасности — с кобурой под мышкой), и чрезвычайно инфантильной привычкой пятилетнего бутуза оттягивать большими пальцами ремни португеи, как помочи. — А, вот хоть это...

Я взяла протянутый им листок с напечатанным на нем следующим машинописным текстом: «...риация. Неотъемлемым правом каждого гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 ча-



сов. Если вы желаете быть похороненным рядом с супругом(ой), следует заблаговременно заявить об этом не позднее чем за тридцать дней до похорон...» Далее до конца страницы перечислялись погребальные льготы, положенные каждому гражданину Израиля.

— А... что это? — спросила я несколько обескураженно.

— Какая разница? — улыбнулся Яша. Добрые складочки разбежались вокруг его рыжих глаз. — Неважно! Не за то боролись! Редактируйте, редактируйте...

— Нет, постойте, может, это юмор...

— Ну какой же юмор! — укоризненно возразил он. — Это — брошюра министерства абсорбции о правах репатриантов. Выбирайте кабинку по душе. Вот тут работает у нас Катька, там — Рита... Чувствуйте себя комфортно...

Он вышел, а я села в свободную кабинку, достала из сумки ручку и положила перед собой лист.

Первым делом я вычеркнула высокопарное слово «неотъемлемым». Потом вставила слово «покойного» перед словом «гражданина», чтобы

у очумевших репатриантов не возникло впечатления, что немедленно по прибытии в аэропорт «Бен-Гурион» следует воспользоваться правом быть похороненным за счет государства в течение 24 часов. Получилось вот что: «Правом каждого покойного гражданина Израиля является право быть похороненным за счет государства в течение 24 часов». Я содрогнулась и вычеркнула. Написала мелкими буквами сверху: «Правом каждого гражданина Израиля является право в свое время быть...» и так далее. Перечитала и ужаснулась. Решительно вычеркнула все. Вздохла глубоко и написала: «Если вы умерли, ваше право...» Тьфу!.. Я вспотела... Вычеркнула... Посидела с минуту, написала: «Каждый гражданин Израиля, умерев в положенный срок, имеет право...» О Господи, а если не в положенный? Я вычеркнула все жирно и написала на полях маленькими аккуратными буквами:

«Когда вы умрете, вас похоронят за счет государства в течение 24 часов...»

Сидела, тупо уставившись на эту обнадеживающую фразу, и слушала стрекотание компьютеров в соседних кабинках.

Собственно, я прекрасно понимала — что со мною происходит. Нормальный стресс, повторяла я себе, такое часто бывает с людьми первое время в эмиграции. Например, Сашка Колманович, наш сосед, классный программист, в Союзе работавший над созданием искусственного интеллекта четвертого поколения, — недавно проходил тест в какой-то частной фирме по производству компьютерных программ. И последним заданием была просьба нарисовать женщину, обыкновенную женщину. Очумевший от пятичасового теста Сашка нарисовал два треугольника, конус и корень квадратный из какого-то сумасшедшего числа... А это оказался примитивный тест на здоровую сексуальность. Вот и все. Так что после этого рисунка Сашка проходил еще пять дополнительных тестов.

— Рита, Рит... — послышалось из кабинки справа... — Слышь, вчера из России Синайка вернулся...

Слева, продолжая стрекотать на компьютере, медленно спросили:

— Это кто... Синайка?

— Да сосед наш, — воскликнули нетерпеливо справа, — профессор лингвистики, помнишь, я рассказывала — Синай Элиягу Аушвиц. Старенький, основатель кибуцов. Мы его дома Синайкой зовем...

— Ну?

— Вернулся в полном балдеже... «Коммунизм, — говорит, — коммунизм! Кмо кибуц гадоль! Свет — бесплатно, телефон — бесплатно. Коммунизм!» Особенно от Ленинграда в восторге. Пришел к «Авроре», а там на набережной бродячий оркестрик играет, Синайка спрашивает: «Гимн можете сыграть?» Лабухи говорят, мол, будут доллары — будет гимн. Он им бросил в кепку два доллара, они заиграли «Союз нерушимый республик свободных». Он от восторга чуть не спятил. «А можно, — спрашивает, — я дирижировать буду?» Лабухи великодушные, разрешили... Представляешь картинку, Рит?

Слева прекратили стрекотать, помолчали и проговорили задумчиво:

— В этом есть своеобразный сюр: в Ленинграде, на фоне «Авроры», под управлением старого израильского профессора бродячий оркестрик играет гимн подыхающей империи...

Мне так понравились сразу эти двое, этот московский, такой знакомый ироничный говорок людей моего круга. Очень захотелось остаться здесь работать. Хоть за три копейки. Хоть за тысячу шекелей, только бы «со своими».

Я вычеркнула все, что написала прежде, хмыкнула и, понимая, что все равно все пропало, застрочила: «Не приведи Господи, конечно, но если вы помрете — не волнуйтесь. Таки вас похоронят, и довольно быстро — дольше двадцати четырех часов не позволят валяться в таком виде на Святой земле. Вашим родным не придется тратиться — государство Израиль обслужит вас по первому разряду: катафалк, кадиш, то, се — словом, не обидят, вы останетесь довольны. Если же вы так привязаны к своей супруге (гу), что желаете и после смерти лежать с нею рядом, вам следует заблаговременно придушить ее, не позднее чем за 30 дней до своих похорон».

Тут над барьером кабинки справа появилась голова, как мне показалось, пятнадцатилетнего мальчика. Круглые черные глаза с оценивающим любопытством оглядели меня.

— Здрасьте, — сказали мне. — Вы к нам редактором пробуетесь?

Я молча махнула рукой.

— А, понятно, похороны редактировать дал?

— Кать... Ты поосторожней, — слышалось слева. — Он появится сейчас.

— Да у них сейчас минха, — отмахнулась та, что оказалась Катькой. Имя ей очень шло.

— Он всем про похороны дает? — спросила я.

— Ага, — отозвалась она.

— А зачем? — спросила я. — Ведь с этим текстом ничего невозможно сделать.

— Да он его сам придумал, — объяснила Катька охотно и просто. — Развлекается...

Тотчас рядом с Катькиной головой возникла другая — коротко стриженная курчавая голова борца с удивительно хладнокровным выражением глаз. Обычно такое выражение глаз бывает у людей с хорошо развитым чувством юмора. Я догадалась, что это вторая сотрудница, Рита.

— Хотите совет? — спросила она. — Вы умеете лицемерить?

— Конечно! — воскликнула я.

— Так вот... — она говорила медленно, словно вдумываясь в какое-то дополнительное зна-

чение слов. — Сейчас Христианский выведет вас гулять...

— В каком смысле?

— По улицам... — невозмутимо уточнила она. — И станет рассказывать про свой роман...

— С женщиной? — спросила я.

— Он будет рассказывать о своем романе «Топчан», — пояснила Рита. — Так вот... Хвалите.

— Помилуйте, как же я могу хвалить, если не читала?

— Ну, бросьте, — Рита поморщилась, словно я брякнула несусветную глупость. — А еще хвастаетесь, что умеете лицемерить. Скажите, что замысел гениален, что сюжетные повороты неслыханно новые; и главное — обязательно просите, умоляйте дать почитать. Просто хватайте за рукава и ползайте на коленях.

Хлопнула дверь, и над барьерами кабинок поплыла черная кипа Христианского. Он оживленно посвистывал. Тут же Катьку и Риту сдуло по кабинкам, застрекотали компьютеры.

— Ну, как ваши дела? — спросил Яша приветливо, заглядывая ко мне. — Знаете что, бросьте вы это. Не за то боролись. Здесь такая духота, а на

улице благодать, теплынь. Не хотите ли пройти минут десять? Заодно и поговорим...

Я надела куртку, мы вышли и вдоль забора какой-то стройки, мимо ряда цветочных магазинчиков и кондитерских пошли ходить туда и обратно по тротуару. Я шла рядом с неумолкающим Христианским и не переставала удивляться точности Ритинового сценария. Правда, начал Яша почему-то не с художественной прозы своей, а с журнала, который он сам писал и сам же издавал, назывался журнал «Дерзновение».

(Вообще почти сразу по приезде в Страну я обратила внимание на то, что многие газеты и журналы носят здесь такие вот, с печатью тяжелого национального темперамента, названия: «Устремление», например, «Прозрение», «Напряжение», «Вознесение» — нет, пожалуй, последнее название не из той, как говорится, оперы.)

Так вот, сначала Яша пересказывал мне свою статью из свежего номера журнала «Дерзновение», в которой он исследовал и сравнивал исторический взгляд на эпоху правления царя Персии Кира: с одной стороны Иосифа Флавия



и с другой стороны — комментатора ТАНАХа — Раши.

— Вот, посудите сами, — журчал надо мной Яшин голос, — Флавий пишет, что от начала царствования Кира до воцарения Антиоха Эвпатора, сына Антиоха Эпифана, прошло 414 лет. Поскольку Эпифан умер на 149-м году правления династии Селевкидов, на долю Персидской империи остается 414 минус 149 плюс — посчитайте, посчитайте! — плюс 18 лет, итого — 247 лет, что, по существу, то же самое, ибо любой год, завершающий упомянутые промежутки времени, может оказаться неполным. Но не за то боролесь! Итак, примем для простоты 246...

Что это, думала я, кивая головой и изображая вдумчивое внимание, он действительно полагает, что я подсчитываю в уме годы правления династии Селевкидов, или в благоговейный трепет вгоняет? А может, он только три эти абзаца с цифрами насчет Селевкидов и выучил и всех претендентов на должность редактора уводит гулять и тут пугает до смерти?

Но нет, — Яша сыпал и сыпал династиями, цифрами, именами из ТАНАХа и Флавия...